

О системе образования в России и США, «реформе» РАН и роли философии в жизни современного общества

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1613>

🎤 20 июня 2013

Собеседник

Капустин Борис Гурьевич

Ведущий

Летняков Денис Эдуардович

Дата записи

Беседа записана 20 июня 2013 и опубликована 2 октября 2013.

Введение

В беседе ученый рассказывает о своей учебе на факультете философии МГУ, о влиянии, которое на него оказали чтение книг молодых советских философов П.П. Гайденко и Э.Ю. Соловьева и занятия на спецсеминаре М.Л. Полищука, о начале работы в ИФ РАН и предложении работать в качестве приглашенного профессора Йельского университета в Америке. Лапидарность, с которой Борис Гурьевич ставит диагноз тогда еще планируемой «реформе» РАН и кризису современного отечественного образования, преломляется к концу беседы в размышления о цивилизационных проблемах нашей страны в перестроечные и постперестроечные годы.

Публикуется в рамках партнерской программы Фонда «Устная история» и Института философии РАН.

Денис Эдуардович Летняков: Сегодня мы беседуем с доктором философских наук, главным научным сотрудником Института философии, профессором Йельского университета, Борисом Гурьевичем Капустиным. И первый вопрос, Борис Гурьевич, у меня к вам такой — не могли бы вы рассказать о том, как вы пришли к философии? Потому что, я так понимаю, что путь был не совсем прямой, вы все-таки заканчивали МГИМО... Как вы оказались в этой сфере, как вы стали заниматься философией?

Борис Гурьевич Капустин: Наверное, с одной стороны, даже случайно, потому что, действительно, оканчивал МГИМО, был на экономическом факультете, и в этом плане переход к философии был большим зигзагом в моей жизни. А с другой стороны, я думаю, что в этом было что-то неслучайное, что-то, видимо, вызревало.

Задним числом можно реконструировать и некоторые важные моменты этого вызревания. Хорошо помню эффект, который на меня, студента второго курса, произвело чтение «Экономическо-философских рукописей 1844 года» Карла Маркса. Их тогда, конечно, не изучали в официальном курсе марксистско-ленинской философии. И они колоссально проблематизировали то, что ранее я воспринимал как самоочевидное.

А еще был семинар, весьма странное явление для МГИМО. Им руководил Михаил Лазаревич Полищук и именовался он «Социологический кружок». Трудно сказать, какое отношение он имел к социологии. Но литературу, которая никак не вписывалась в тогдашний канон истмата, мы читали и обсуждали систематически. Лучше всего помню дискуссии о Маркузе, Фромме, Чарльзе Райте Миллсе, Токвиле, Камю. Вероятно, на меня они произвели наибольшее впечатление, поэтому и помню. Почти все эти книжки были на английском. Кто-то как-то привозил их из-за рубежа, и они ходили по рукам «кружковцев», причем согласно жесткому графику. Удивительно, что институтское начальство, как казалось, не обращало на всю эту нашу активность внимание. Или это входило в неписанные правила подготовки идеологически стойких работников советских загранслужб? А еще я помню, как в общежитии читали и жарко дебатировали статьи Эриха Соловьева об экзистенциализме в «Вопросах философии», книжку Пиамы Гайдено о Кьеркегоре, раздраженную ревнителями официоза «Историческую науку и некоторые проблемы современности»...

” В МГИМО я существовал в своеобразной микросреде, в которой конформизм по принципу «положение обязывает» сочетался с редкой для советской жизни открытостью мировым ветрам и высокой интеллектуальной любознательностью. Конечно, не хватало систематичности и глубины классического образования. Но что поделаешь?

Так или иначе я был готов после окончания института идти в философскую аспирантуру, и кафедра философии МГИМО меня в этом сильно поддерживала. Но жизнь распорядилась иначе. Я был призван в армию и проходил службу далеко от родины.

Служба в армии. Аспирантура

Д.Л.: В Сирии, да?

Б.К.: Да. Служил переводчиком в военно-воздушных силах. И потом, после демобилизации невероятным образом поступил в философскую аспирантуру МГУ.

Д.Л.: Извините, а у вас арабский язык?

Б.К.: Да, официально, т.е. по диплому арабский считался моим первым иностранным языком. А в МГУ я поступал без партийного билета, без, как тогда говорили, базовой специальности, просто

как «мальчик с улицы». По законам того времени меня не должны были принять. Но приняли. Я думаю, большую роль в этом сыграл Григорий Григорьевич Водолазов, который потом был моим научным руководителем по кандидатской диссертации. С ним я познакомился совершенно случайно, когда мыкался по кабинетам первого корпуса гуманитарных факультетов МГУ, даже не зная толком, куда направить свои стопы и где вообще пролегает тропа, ведущая в аспирантуру. Ему я многим обязан в моей жизни — и в интеллектуальном, и в человеческом плане.

Д.Л.: То есть не партийный не мог быть аспирантом?

Б.К.: Едва ли это было прописано в официальных документах. Но практика приема в аспирантуру на «идеологические специальности», тем более, в ведущих вузах типа МГУ была именно такова. Без партбилета было также крайне трудно устроиться и на работу преподавателем философии, во всяком случае, в московских вузах. Но имели место исключения.

” Вообще «исключение» — это некоторое неписанное правило жизни в брежневскую эпоху, без должного понимания которого картинка «советского тоталитаризма» будет, мягко говоря, неадекватной.

Работа в Институте философии. Разница в системах образования США и России

Д.Л.: А как вы оказались в Институте философии?

Б.К.: В начале 90-х годов я работал в Фонде Горбачева. Сейчас не хотел бы обсуждать фигуру Горбачева и его роль в нашей истории. Это очень непростые сюжеты, не имеющие прямого отношения к теме нашей сегодняшней беседы. Но когда в 96-м году Горбачев пошел на президентские выборы, те самые, в которых страну олигархи и продажные СМИ призывали «голосовать сердцем» за Ельцина, я понял, что пришло время уходить: шансов у Горбачева заведомо не было никаких, а все силы Фонда оказались брошены на развертывание его президентской кампании. К тому же истек срок моего контракта с Фондом. В Институте философии я знал многих, а с некоторыми из них — Игорем Пантиным, Рубеном Апресяном, Татьяной Алексеевой (позже она перевелась в МГИМО), Алексеем Кара-Мурзой — меня связывали дружеские и тесные рабочие отношения. Когда пришло предложение переходить в Институт, я не колебался.

Д.Л.: И вы сразу оказались в секторе истории политической философии?

Б.К.: Да, сразу. К этому я и стремился.

Д.Л.: И потом был отъезд в США.

Б.К.: В США я был несколько раз и до того. Но то были поездки иного рода. Я первый раз преподавать поехал в 93-м году. Тогда я там один семестр проработал. После этого меня стали приглашать преподавать с известной регулярностью, и все 90-е годы я провел между Россией и Америкой, работая по году—два то в одной стране, то в другой. В основном я преподавал в Йельском университете, хотя есть некоторый опыт работы и в других местах. Но, честно говоря, Йель для меня вне конкуренции.

Д.Л.: Ну он и по статусу выше, да? Входит в пресловутую Лигу плюща, древняя история.

Б.К.: Да, Лига плюща. Хотя этот статус — сугубо неформальный. Все, что в Америке — «древняя история», может вызвать лишь улыбку европейцев.



Меня в Йеле прельщало другое: немислимая по нашим меркам академическая свобода, форматы преподавания, в которых лекции сведены к минимуму, в целом очень высокий уровень студентов, богатство внутриуниверситетской интеллектуальной жизни.

Д.Л.: А если попробовать в целом сравнить систему преподавания в России и США? Сейчас очень много говорят о реформе образования, которая необходима России и нашему образованию, не могли бы вы в общих чертах сравнить систему преподавания в Америке и в России, насколько она отличается?

Б.К.: Мне, честно говоря, трудно какие-либо важные сходства найти.

Д.Л.: Вообще все разное?

Б.К.: Ну, не все, конечно. И там, и там есть студенты, есть преподаватели, выставляются оценки, пишутся дипломные работы и т.д. Но то же внедрение у нас «болонской системы», которая, в свою очередь, есть грубая калька с англо-американской университетской модели (что раздражает многих умных европейцев), представляет собой заимствование пустой оболочки, из которой удалено все живое. Фундаментальные различия начинаются с того, что в Америке нет Министерства образования, и никто не может ничего продиктовать не только частным университетам, типа Йеля, но и так называемым «публичным», значительная часть бюджета которых формируется из средств соответствующих штатов. Отождествлять отсутствие административного диктата с «полной свободой», конечно, очень наивно. Есть рынок, который диктует многие вещи, идущие вразрез с высокими традициями университетской жизни. Более того, есть мощная и, на мой взгляд, очень опасная тенденция превращения университетов в бизнес-корпорации, которая, в частности, была блестяще описана в недавно вышедшей на русском языке книге Билла Ридингса «Университет в руинах». И тем не менее свобода преподавательского творчества, самоорганизация студенческой жизни, ответственность всех вовлеченных в учебный процесс сторон за качество «конечного продукта» остаются для нас недостижимыми. Я уже не говорю об отсутствии коррупции и всей нашей грязи в виде купленных дипломов, проплаченных экзаменов, написанных наемниками диссертаций и т.д.

Д.Л.: Полное самоуправление?

Б.К.: Да, насколько оно возможно в реальных условиях очень жесткого рынка, деградирующего капитализма и в чем-то прямо-таки оруэлловской «политической корректности». Но и остающегося за вычетом всего этого по меркам реального мира очень много. Поймите, по сути все читаемые в Йеле по общественным наукам и философии курсы — «авторские».



Создать свой учебный курс равносильно написанию книги (и во многих случаях курсы, действительно, трансформируются в книги). И такие курсы-книги студенты выбирают свободно, формируя свои учебные модули. Разве это не говорит о многом?

Никаких признаков движения в этом направлении в России, если говорить о стране в целом, а не об отдельных экспериментах в отдельных «выставочных» вузах, я не вижу.

Д.Л.: А сама идея такой глубокой реформы системы образования в России, как вы считаете, она актуальна? Потому что некоторые считают, что у нас была хорошая советская система и зря от нее отходят, а есть другое мнение, что советское образование было не очень хорошее, мягко говоря, и нам нужно как раз идти в сторону западных аналогов. Вот ваше мнение какое здесь?

Б.К.: Я не большой поклонник советского образования, но 90-е годы заставили меня опасаться любых

отечественных реформ. Я не буду говорить о естественных науках и математике, т.е. областях, в которых советское образование и наука часто были мировыми лидерами. Сейчас это уже не так. В советском обществоведении, конечно, дела обстояли много хуже. Причины этого хорошо известны — нет смысла их повторять вновь. Но даже в советском обществоведении сохранялась системность знания, пусть и «истматовская», существовали и определенные критерии, позволявшие отличить балаган от теоретической работы, каково бы ни было ее качество.

” Сейчас же господствует постмодернистско-православно-технократический китч, чуждый какой-либо мыслительной деятельности. Реформа, если она — не очередная пародия, может начаться только с противодействия китчу любой ценой, с восстановления базовых представлений об умственной деятельности, причем одновременно на уровне научно-исследовательской работы и на уровне преподавания.

На мой взгляд, у нас под реформой понимают все, что угодно, но только не это. Понимаете, даже если вы последнюю забытую богом школу оснастите новейшими компьютерами и направите в образование миллиарды рублей, но оно при этом будет продолжать транслировать китч, то нынешнее прискорбное положение дел будет только усугублено: для распространения безобразия возникнут более мощные технические и иные орудия.

Но ваш вопрос о реформе образования меня в тупик ставит и по другой основательной причине. Я не знаю, как можно обсуждать проблему реформирования, скажем, высшей школы в отрыве от разговора о том, куда идет само общество. Мне кажется, главная проблема нашего образования заключается не в том, какие курсы читать, по каким модулям их выстраивать и как вводить кредитную систему, бакалавриат, магистратуру или делать какие-то иные новации такого рода. Главная проблема образования, по-моему, заключается в том, что у нас неучи могут оканчивать университет и при этом находить работу. Если такое происходит, то это красноречиво говорит о том, что знание обществу не нужно, что нет запроса не только на качественное, но и мало-мальски пристойное образование. Но коли так, то реформа — как реформа именно образования, а не, скажем, реформа экономики и перераспределения бюджетных денег, обречена. Стало быть, кардинальный вопрос реформы образования состоит в том, как изменить общество, которое превратилось в настолько отсталое, что ему не требуются ни реальные знания, ни общественные институты, которые заняты (в иных исторических ситуациях) производством и распространением знаний. Это уже большой политический вопрос, рассмотрение которого уведет нас далеко от темы образования как такового.

Д.Л.: Ну если позволите, еще одна параллель по поводу организации не системы образования, а науки. Можно ли как-то сравнивать организацию науки как института в России и США? Насколько есть разница работы ученого, самого института науки, как это все организовано?

Б.К.: В США науку — и фундаментальную науку в первую очередь — делают университеты. Силиконовая долина была бы абсолютно невозможна без опоры на ресурсы университетов, прежде всего — Западного побережья.

” Это объясняет несерьезность Сколково как института научного и технологического прорыва: оно задохнется в интеллектуально безвоздушном пространстве, даже перестав растранижировать средства, как то было до сих пор, если, говоря образно, МГУ не превратится в университет Беркли, а Бауманка — в MIT.

Но для этого, как минимум, университетский педагог должен стать одновременно научным работником. Должен быть синтез исследовательской работы и педагогической работы. Возможно ли это при нынешней организации российской университетской жизни? Если говорить не об одиночках-подвижниках, а о тысячах и тысячах, без труда которых, нередко незаметного, не отмеченного Нобелевскими и Филдсовскими премиями, не происходит развитие науки, то это, конечно, невозможно. Разумеется, научный прорыв обусловлен и многими другими моментами, но возможность заниматься наукой, не утопая в бюрократической и преподавательской рутине, есть *sine qua non*. Именно этого кардинального условия нет в российских университетах, и следствия такого отсутствия налицо.

О реформе Академии наук

Д.Л.: В связи с этим, наверное, идеи перенести науку в университеты и ликвидировать Академию наук, с которыми сейчас активно выступает министерство, немножко странно выглядит, да?

Б.К.: Они не выглядят странно с точки зрения тех финансовых и административных соображений, которыми, на мой взгляд, в первую очередь руководствуются те, кто хочет «реформировать» РАН. Но фундаментальную науку в России эта «реформа» имеет все шансы добить. Нужна ли она вообще нынешним властям — другой вопрос. Аргументы о том, что РАН — уникальное в мире явление, верные сами по себе, никак не говорят в пользу ей предложенного реформирования.

” **Сделайте вначале российские университеты «западными», а потом поговорим об упразднении РАН или ее превращении в «клуб по интересам». Вы ведь несколько лет назад начали реформы университетов. И что получилось? Они стали «западными»?**

А если не стали, если тоже являются «уникально российскими», то как можно рассчитывать на то, что они возьмут на себя ту научную функцию, которую — при всех ее несовершенствах — реализует РАН? Но в таком ключе реформа РАН во властных органах страны даже не обсуждается. И этим, думается, все сказано.

Д.Л.: А в США это совмещение возможно именно потому, что преподаватели имеют символическую лекционную нагрузку?

Б.К.: Лекционная нагрузка в американских университетах, действительно, кратно меньше, чем в российских. Но педагогическая нагрузка ни в коей мере не является «символической». В США учебный процесс несоизмеримо более индивидуализирован, чем в России, по крайней мере, в приличных вузах. Индивидуальные консультации, рецензирование всех без исключения письменных работ студентов (и плюс к этому массы драфтов таких работ), а пишут американские студенты в разы больше, чем российские, и не о тестах я говорю, вся формальными часами не учитываемая работа по профессиональному ориентированию студентов, которой однако занимается большинство преподавателей, участие во всевозможных мероприятиях, проводимых студентами, которое вроде бы добровольно, но *noblesse oblige*, и т.д. и т.п. Как подсчитать все это? Но без этого в условиях конкуренции между преподавателями, особенно между теми, кто не относится к аристократии обладателей постоянных позиций, выжить в университете невозможно. Теперь добавьте к этому необходимость разработки «авторских курсов», то есть по сути дела всех, которые читаются в приличных вузах. И необходимость их обновления или снятия одних и написания других, что может диктоваться как изменением собственных научных интересов преподавателя, так и спросом на них со стороны студентов. А без этого спроса выжить тоже невозможно! Разве сопоставима трудоемкость разработки таких курсов с преподаванием по готовым, кем-то написанным учебникам, как это в обычном порядке практикуется в российских вузах?!

Но в том-то и дело, что таким образом построенная преподавательская работа оказывается неотделимой от исследовательской. И это касается не только разработки новых курсов, но и той полемики с собственными студентами, которая проходит сквозь консультации, рецензии, семинарские занятия.

” Попробуйте найти новые аргументы вместо тех, которые не убедили студентов в прошлый раз. Стремясь к этому, вы неизбежно погрузитесь в новые книги, вы неизбежно будете оттачивать собственную мысль и подвергать сомнению то, что еще вчера принимали за «самоочевидное».

Да, возможно, приведенное выше описание практического синтеза преподавания и исследовательской работы вдохновлено опытом Йеля, и в более скромных американских университетах дело обстоит не совсем так (ведь деление на «исследовательские» и «преподавательские» университеты имеется — опять же неофициально — и в США). Но как было бы замечательно, если бы в России педагогическая нагрузка переструктурировалась — а не облегчилась! — так, чтобы хоть в какой-то степени уподобиться той, которая типична для «исследовательских» университетов США!

О роли философии в обществе

Д.Л.: Борис Гурьевич, теперь хотелось бы несколько вопросов задать о роли философии в обществе. Вот Салам Керимович Гусейнов недавно в одной из своих статей написал, что если бы его спросили, за что государство должно платить философам, какая общая роль философии в обществе, то он бы ответил так, что философы занимаются философией и от них нет никакой другой пользы, кроме того, что они занимаются философией. На ваш взгляд, может ли философия, и вообще общественная мысль, политическая философия, которой вы занимаетесь, может ли она помочь российскому обществу в решении каких-то проблем, стоящих перед ним? То есть если вообще так вопрос поставить грубо, то есть ли какая-нибудь практическая польза от философии, на ваш взгляд?

Б.К.: Это вопрос с двумя возможностями ответа. Если под «практической пользой» понимать нечто инструментальное, скажем, рекомендацию относительно того, как повысить производительность труда в металлургической промышленности или стабилизировать банковскую систему или эффективно провести кампанию Собянина по выборам в мэры Москвы, то философия, оставаясь философией, не может быть «практически полезной». Но если под словом «практический» понимать нечто более серьезное, скажем, нечто в духе кантовских рассуждений о практике, связывающих ее с нравственным самоопределением человека, или в более широком плане — с нравственно-политическим самоопределением общества, то философия может и должна быть даже очень полезной. Ее дело — стимулировать и развивать ту саморефлексию, ту критическую способность мыслить, без которых ни о каком самоопределении, а следовательно — ни о какой свободе и демократии (если демократия связывается со свободой) и говорить нельзя.

” Получается, что на лобовой вопрос о том, зачем государству финансировать философию, ничего не скажешь, если задающий этот вопрос — или ставящее его государство — не имеет понятия о саморефлексии, а следовательно — о свободе и демократии.

В противном случае вопрошающему — или государству — можно показать, какую роль играет в процветании общества духовное и нравственное измерение человеческой жизни. Примечательно то, что особо одаренные государственные деятели догадываются об этом сами. Неслучайно князю Бисмарку,

превратившему провинциальную и раздробленную Германию в супердержаву, приписали потрясающее высказывание о том, что великую битву при Садовой, переломившую ход австро-прусской войны 1866 года, выиграл прусский школьный учитель. Но ведь у школьного учителя должны были быть идеи и нравственные установки, которые тоже кем-то воспитывались и кем-то разрабатывались. Думать, что в современном мире все функции по воспитанию, разработке и защите таких идей и установок могут взять на себя церковь и поп-культура, — верх наивности. Хотя в такой наивности трудно заподозрить наших правителей. Скорее всего, духовность — это не то, что их как-либо интересует.

Д.Л.: Ну это проблема только российского государства? Потому что разговор о том, что наступление какое-то на гуманитарные науки ведется и во многих странах Запада, тоже часто можно слышать, это вследствие чего? Того, что все превращается в товар, коммерциализируется? Или это все-таки проблема скорее российская и в других странах она не так ярко выражена, как вам кажется?

Б.К.: Я считаю, что это проблема мировая. Она ни в коей мере не является специфически российской. Я эту проблему пытаюсь связать, в том числе в моих последних публикациях, с тем типом капитализма, который сложился или складывается в последние десятилетия. Вообще для капитала, как верно писал еще Маркс, ничего нет выше круга полезности, понятой именно инструментально. Некапитализируемые ценности для него — не ценности. Это было и раньше, но во времена «тучных коров» можно было позволить себе «излишества». К тому же во времена острой политической и идеологической борьбы философская мысль всегда бывает востребована — хотя бы из утилитарных соображений.

” Сейчас мы живем во времена «тощих коров», а по-настоящему острой политической борьбы (пока) нет — не считать же таковой всяческие «окупай»? Отсюда и ненужность философии в мире капитала, то есть в мире, практически глобальном.

По большому счету судьбу философии может изменить только появление реальных политических альтернатив, то есть ситуаций, в которых, как афористически сказал как-то Маркс, не только мысль стремится к воплощению в реальности, но и реальность стремится к мысли. Кто знает, когда такая ситуация возникнет?

О переломе 1990-х годов в России

Д.Л.: Борис Гурьевич, вы сказали, что философия успешно развивается именно на переломе, при появлении альтернатив, когда разрушаются старые смыслы, ценности, но тогда вроде бы России сам бог велел с ее очень сложной постсоветской трансформацией стать такой страной, где философия очень активно бы жила и развивалась. Почему этого не происходит? Не произошло? Именно потому, что мы попали в реальность такого сурового капитализма, который все закупоривает или по каким-то другим причинам?

Б.К.: На самом деле, это — грандиозный вопрос. Если бы я был полностью готов к ответу на него, то, наверное, у меня была бы написана книга, над которой я мучаюсь уже лет пять, а написать не могу. Поэтому вместо развернутого ответа позвольте ограничиться несколькими соображениями *à propos*.

Первое таково. Мы привыкли говорить о радикальном переломе, выпавшем на конец перестройки, 91-й год и период гайдаровских реформ. Хорошо бы осмыслить меру его радикальности. У Эдмунда Берка в его книге о французской революции есть блестящее замечание. Обращаясь к французским революционерам, он говорит: «Вы смогли сломать монархию, но вы не смогли ввести свободу». Получается так: если монархия (для революционеров) тождественна несвободе, то несвобода осталась и после революции (хотя иначе институционально упакованная). Коли так, то в чем ваша радикальность? Много поломано, но в действительности мало, что изменилось. Эту тему о нерадикальности французской революции

позднее по-своему развернет Токвиль (в «Старом порядке и революции»).

В свете этого я тоже готов спросить: в чем именно состоит радикальность нашего перелома рубежа 80—90-х годов? Да, исчезли КПСС, Варшавский пакт, Госплан, шестая статья конституции СССР и он сам. И кое-что еще. Глобальный мир от этого изменился сильно. Мы получили возможность ездить по миру (у кого есть деньги для этого и кому не отказывают в визах), копить доллары и евро и читать Солженицына (хотя реально читаем его, равно как и всех остальных, все меньше). Но изменились ли политэкономические конструкции «старого порядка», те, которые определяются отсутствием собственности у основной массы производителей, отчуждением труда и его продуктов, контролем общественного богатства со стороны класса господ, социально-экономическим неравенством (если не говорить о резком и даже катастрофическом росте последнего в постсоветский период) и так далее? Институциональные механизмы присвоения богатства господами, воспроизводства неравенства и тому подобное в чем-то изменились, но политэкономия угнетения в основном осталась прежней, разве что некоторые ее амортизаторы в виде советского социального государства оказались во многом отброшены (в интересах тех же господ). Да и состав господствующего класса поменялся мало: политические социологи давно отмечают, что «обращение элит» (elite turnover) при переходе от СССР к постсоветской России было очень низким и даже рекордно низким для бывших социалистических стран Европы.

” Так чем же были КПСС, 6-я статья конституции и вся прочая атрибутика советизма с точки зрения политэкономии господства и угнетения — несущими конструкциями или балластом, отбросить который стремился сам господствующий класс (или, во всяком случае, его влиятельные фракции)? Если верно второе, то радикальность нашей «антикоммунистической революции» еще более сомнительна, чем радикальность французской революции в глазах Берка и Токвиля.

Если так, то мы находим объяснение невостребованности философии нашей, с позволения сказать, революцией.

Второе соображение, я полагаю, менее дискуссионно, чем первое. В литературе давно отмечено, что на так называемых антикоммунистических революциях 89—91-го годов лежит печать просто-таки невероятного интеллектуального бесплодия (по сравнению с предшествующими революциями — английской, американской, французской, нашей Октября 17-го года и т.д.). Они не произвели абсолютно никаких новых идей и в лучшем случае повторяли зады уже несколько истершейся к XX веку либеральной премудрости. Кое-кого, как Ральфа Дарендорфа, такое имитационное школярство «антикоммунистических революций» даже радовало: они видели в нем верный признак возврата бывших социалистических стран к либеральной «нормальности». Кое-кого, как Юргена Хабермаса, оно озадачивало, так что они начинали сомневаться во «всамделишности» этих революций, вследствие чего и рождались термины-оксюмороны для их обозначения, типа хабермасовского «исправительные революции».

Как бы то ни было, не следует ли нам думать, что сама интеллектуальная бедность «антикоммунистических революций» была очень функционально полезна для гашения альтернатив тому, что произошло?

” Ненужность философии, тем более, мыслящей критически о настоящем и тем самым приоткрывающей возможности будущего, сама есть идеология, причем идеология консервативная и, вероятно, даже апологетическая.

Д.Л.: Борис Гурьевич, а если говорить о проблемах, которые стоят перед российским обществом

в духовном плане, в культурном, то какие бы вы главные проблемы назвали? Может, это поиск каких-то ориентиров или еще чего-нибудь? Как вы думаете, что здесь наиболее актуально для нас, для России?

Б.К.: Я, как мне кажется, уже сказал о тех проблемах, о которых мог что-то внятное сказать. Что касается ориентиров, то не нужно их придумывать. Все «национальные идеи», родившиеся в кабинетах, не стоят бумаги, на которой они распечатаны. Я сам готов покаяться, что много лет назад тешился подобными играми. Хватит идеологического авангардизма, хватит перстов, указующих пути духовного возрождения.

” Дело философии — почувствовать, что зреет в народе, критически и внятно артикулировать это, вступить в диалог с этим растущим снизу самосознанием и помочь ему достичь максимально возможной самостоятельности. Все остальное — лукавство или недобрый умысел.

В этом же я вижу миссию педагогики и именно поэтому и именно в этой социально-культурной функции я усматриваю родство педагога и философа.

Д.Л.: То есть такие новые Сократы, которые будят людей?

Б.К.: Да, сократовская майевтика — это философско-педагогическая модель, вероятно, не осуществимая нами с сократовским блеском. Но забвение ее равносильно предательству и философии, и педагогики. Не забудем только, что майевтика есть полемика и критика, и они есть единственный демократический метод общения и в формате учитель — ученик, и в формате философия — народ.

О собственных философских исследованиях

Д.Л.: Борис Гурьевич, если говорить о ваших научных, философских исследованиях, то как менялось их направление, тематика в течение вашей научной карьеры. Можете как-то так кратко обрисовать, к чему вы шли, чем вы занимались?

Б.К.: Если говорить кратко, то я бы сделал следующую периодизацию. До 85-го года я занимался в основном социально-политической проблематикой стран «третьего мира». Но эта призма позволяла увидеть многие важные проблемы философии истории и методологии исторического познания. К ним меня влекло всегда, хотя в то время я оставался в рамках того, что можно назвать «неортодоксальным историческим материализмом». Возможно, с примесью наивно истолкованного гегелевского историзма. 84—85-й учебный год я провел в Лондонской школе экономики и там сблизился с некоторыми теоретиками, группировавшимися вокруг журнала «New Left Review». Эти контакты сильно повлияли на мое мировоззрение, и следующий период моей деятельности прошел под знаком того, что иногда называют «неомарксизмом». В то время помимо продолжения занятий «социологией развития» я все больше интересовался философией истории и стал углубляться в новую для меня тему — идеологическая и политическая трансформация мира труда в условиях современного капитализма. Позднее это вылилось в докторскую диссертацию.

” Период перестройки задним числом рассматриваю как время моего наибольшего интеллектуального замешательства, лихорадочной публицистической активности и низкого качества продукции.

Все написанное тогда, за что не совсем стыдно, построено на капитале, нажитом в предыдущие годы. Все остальное, несущее печать популярных в то время «общечеловеческих ценностей», «европейского дома», «нового мышления» и т.п., заставляет меня сейчас краснеть.

91-й год заставил меня уйти в устроенный самому себе ликбез. За что я очень ему благодарен. Провозглашенные либеральными и не принимаемые мной реформы побудили меня искать опоры их критики в самом либерализме. Я закопался в классику либеральной мысли и сочинения столпов современного либерализма. Начался мой «либеральный» период, в течение которого было немало написано по истории и политической теории либерализма. Эти мои штудии вывели меня на то, что стало главным содержанием следующего этапа — политико-философскую теорию современности. Одновременно и в связи с ее разработкой происходило осмысление политической философии как специфической дисциплины в ее сложных взаимоотношениях с философской онтологией и эпистемологией, а также с политической теорией в узком и специальном смысле этого понятия. Основные мои работы по этой тематике появились в конце 90-х — начале 2000-х годов. Однако и после их публикации оставить позади себя грандиозные темы современности и политической философии было невозможно. Более того, они стали ветвиться, сталкивая меня с новыми для меня проблемами и сюжетами. Именно таким образом я стал заниматься теорией политической морали, которой было отдано несколько лет, насилия и гражданского общества. Работы по этим темам выходили в 2000-е годы, и все они — в своих специфических ракурсах — были возвратами к двум основным моим вопросам: «что такое современность?» и «что такое политическая философия?».

Последние годы я занят в первую очередь темами революции и современного капитализма. В известном смысле они тоже есть возврат к моим двум основным вопросам, хотя и под несколько другим углом зрения. И хотя я планирую написать отдельные книги по каждой из этих тем, они представляются мне тесно взаимосвязанными. На мой взгляд, вряд ли о современной политической жизни, в России или в мире в целом, можно сказать что-то не поверхностное без осмысления тенденций эволюции, или инволюции, новейшего капитализма. Равным образом, вряд ли без этого и без создания адекватной этому революционной теории можно рассуждать о мире, более пригодном для исторической жизни человека, чем нынешний. Не знаю, сколько времени займет реализация этих моих планов, да и смогу ли осуществить их вообще, но это — то, чем я занимаюсь и буду заниматься в будущем.

Об отношении к российской философии за рубежом

Д.Л.: Борис Гурьевич, а вообще российская философия хоть в какой-то степени известна за рубежом? В США, в частности, что-то знают о российской философии или Россия — это вообще terra incognita с этой точки зрения?

Б.К.: Сегодня у нас в Институте была любопытная лекция итальянского профессора Никола Руссо. После нее ему задали вопрос: есть ли в университетах Италии особые программы обучения, или хотя бы отдельные курсы, итальянской философии, выделенной из «философии вообще» или, скажем, европейской философии. Аналогично тому, как у нас преподается русская философия. Оказалось, что в Италии итальянская философия как особый предмет не преподается. Конечно, изучают тех итальянцев, которые внесли свой вклад в сокровищницу мировой философской мысли. Но не как итальянцев, а как мыслителей мирового калибра. Вот здесь и ответ на ваш вопрос. Конечно же, в США знают русских мыслителей. Курсы по Достоевскому, или Бахтину, или Лотману, или Александру Кожевникову (Кожеву), если двух последних тоже считать «нашими», могут читать и читают не преподаватели департамента Slavic Studies (такого и нет в Йеле, к примеру), а «общие» философы, лингвисты, литературоведы... Но таких русских или советских в философии совсем немного (в отличие от литературы, музыки или естественных наук). А вот «русскую философию» будут знать, если, конечно, знают, только профессиональные русисты. А это и есть показатель того, что большинство относимых к ней персонажей на уровне мировой философии не признаны. Мне, откровенно говоря, этот подход кажется верным.



Если некто внес крупный вклад в разработку какой-то проблемы или теории, то его или ее изучат независимо от национальной принадлежности. А остальных страноведы и историки будут изучать как явления культуры, которая стала предметом их профессиональной деятельности.

Поэтому в США, конечно, есть специалисты по Чаадаеву, Хомякову, Новгородцеву и т.д. Только их нужно искать в соответствующих департаментах.

Д.Л.: Ну и, наверное, самый последний вопрос, такой немного личный: могли бы вы назвать какого-то философа или может книгу даже, которая в наибольшей степени повлиял на вас как на личность, на мыслителя, которая вас сформировала?

Б.К.: Кое-кого я уже назвал — Маркса, Гегеля, смело добавлю к ним Платона, Аристотеля, Гоббса, Ницше. Очень люблю Паскаля, Руссо, Канта, хотя мои писания о последнем вызвали раздраженную критику некоторых его поклонников. Огромное воздействие на меня произвел Макс Вебер. Из зарубежных мыслителей XX века отмечу в первую очередь Гадамера, Козеллека, Шмитта, Фуко, Бурдье, Дьюи. Я очень многим обязан и бесконечно благодарен всем тем моим соотечественникам-современникам, чьи имена упоминались в этом интервью ранее. К их числу я бы добавил Лившица, Ильенкова и Гефтера. Первого из них, впрочем, я никогда не встречал лично, но во многом его работы служили мне эталоном.

Д.Л.: Спасибо большое.